

Игорь Джерри Курас

ключ от небоскрёба

стихи



Игорь Джерри Курас Ключ от небоскрёба

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11958978

ISBN 978-5-4474-2637-8

Аннотация

В книгу вошли избранные, наиболее полюбившиеся читателям стихи Игоря Джерри Кураса из книги «Не бойся ничего», а также новые стихи, написанные в 2014–2015 годах.

Предисловие к сборнику – Владимира Гандельсмана.

Содержание

Формальная безупречность и благородство содержания	6
Чужой сон	11
«Среди чужих людей, вблизи своих деревьев...»	11
«Дождь деревенский не похож на городской...»	12
Осенний экзерсиз	14
«Мы замолчим, а снег без остановки...»	15
Чужой сон	17
«Не бойся ничего. Мне страшно самому...»	18
«Я пишу...»	19
«Виолончель на встречной полосе – ...»	21
«Истечение времени тенью в горячем песке – ...»	23
Бостонская элегия	25
Ремесленник	26
«И вот я заснул, убаюканный ливнем – ...»	27
«Мне снился лес: как римскими мечами...»	28
«Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи...»	29
«Заметил ты, как схожи невпопад...»	30
«Это время потом назовут довоенным – ...»	31

«Нелепо слепленная твердь...»	32
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Ключ от небоскрёба

Игорь Джерри Курас

© Игорь Джерри Курас, 2015

© Ирина Терра, дизайн обложки, 2015

© Татьяна Кноссен-Полищук, иллюстрации, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru

Формальная безупречность и благородство содержания

В основе поэзии Игоря Дж. Кураса – переживание непотворимости и мгновенности человеческой жизни. Её назначение выражено в одном из стихотворений, которое как бы связывает в узел всё остальное, и сборник отправляется в путь.

Есть только облака и чернозём —
и тонкая прослойка между ними,
где мы с тобою связаны узлом
с такими же червями дождевыми.
Ты скажешь: участь? Отвечаю: часть —
частицей быть, коротким междометьем;
из грязи в князи – и обратно в грязь
рассыплемся, сплеться – и не заметим.
Ты скажешь: прочерк? Отвечаю: честь
быть между двух разрозненных вселенных,
скрепляя их с червями вместе здесь,
где облака и чернозём мгновенны.
Вот я дышу – и ты дыши пока,
и пусть другие дышат вместе с нами,
связуя чернозём и облака
на краткий миг надёжными узлами.

Часть, частица, чернозём, но и честь. Червь, но и человек. Державинское: «Я царь — я раб — я червь — я бог!» — и мандельштамовское: «Ну, здравствуй, чернозём: будь мужествен, глазаст...»

Лирика имеет в виду игру на лире, то есть музыку, и она — также в основе поэтического творчества И. Дж. К. Я думаю, это прежде всего классическая музыка, та, в которой есть равновесие, чёткость и прозрачность композиции, стройность и гармоничность. Читатель найдет стихи с названиями «Рондо» или «Этюд», а в самих стихах «виолончель», «скрипку», «альт», «гитару», «басовый ключ», «партитуру», Баха, Моцарта, Шумана, «музыку», наконец. И — без кавычек, музыку как таковую.

Между тем, в одном из стихотворений поэт пишет:

А вдруг нельзя писать слова,
в которых музыка права:
в которых звуки, звуки, звуки...

Чуткое опасение. В музыке есть бытийственность без границ, не прицепленная к колышку конкретного смысла, и при этом нет ничего более определенного, столь же явно соединяющего в человеке земное и небесное, чем музыка. «За музыкою только дело». Великий соблазн и высокомерная ошибка поэзии «бегать» взапуски с музыкой. Звукопись, ставшая самоцелью, делает стихи слащавыми, если в них есть какой-то смысл (как это бывало у символистов), и бре-

дом, если они бессмысленны. Джойс, пытавшийся дать пример «абсолютной музыки» в «Поминках по Финнегану», звучит так: «бабабадалгарагтакамминарроннконнброннтоннерроннтуо-нттаннтроварроунаунскаунтухухурденентер-нак!»

В этом сборнике поверхностного музицирования нет. Поэзия (как и архитектура, допустим) являет музыку на своём, только ей присущем языке. И. Дж. К. достигает «выразительности до такой степени пластичной, чтобы всякому повороту слова и мысли сообщить звучание – как иной раз один лишь вид собора побуждает нас слушать незримые, лишь воображаемые колокола». Это сказано по другому поводу и не мной, но весьма уместно по отношению к И. Дж. К.

Когда по небу белой полосой
летишь, летишь, пространство распечатав,
кто пожалеет горизонт пустой
одной тоской соединённых штатов?

Формальная безупречность здесь обеспечена чистотой и благородством содержания.

Есть ещё одна музыкальная черта в произведениях И. Дж. К. Можно назвать это рефреном – наиболее очевидно он подан в стихотворении «Рондо» («Бетховен. «Рондо». Я ещё живой...»), которому рефрен должен сопутствовать по определению. Можно назвать это возвращением к основной теме, и тогда вспомнить строение фуги, с её репризой и кодой в финале. Музыкальной терминологии в разговоре об

этих стихах не избежать, но мне бы хотелось ещё раз указать на содержательность формы: настойчивое, многократно встречающееся в сборнике возвращение темы в конце стихотворения подобно древнегреческим мифам с умиранием и непременно воскресением. Говоря красиво (виною тому не наше велеречие, а сам миф), слёзы Афродиты воскрешают Адониса в виде прекрасного анемона. Движение, переданное в приведенном в начале стихотворении, – от облаков к чернозёму и от чернозёма к облакам (обратите внимание на порядок этих слов в первой и предпоследней строках). Древнегреческий миф здесь заодно с Экклезиастом – «... и возвращается ветер на круги своя». На этой сцене – между рождением и воскресением – разворачивается человеческая жизнь и действие книги И. Дж. К. На этой сцене герой стихотворения «Экклезиаст» вопрошает: «Что делать мне?»

«Куда ж нам плыть?» – пишет Пушкин. «Что же мне делать, слепцу и пасынку...» – восклицает Цветаева. В самом поэтическом вопрошании, повторяемом на разные лады множеством поэтов, заключён ответ. У И. Дж. К. он выглядит так:

Сам по себе – и с кем-то, кто невидим,
и с тем, кого давно укрыла тьма, —
о да – и с ним! – ведь не порвались нити,
но лишь плотней натянута тесьма.

Музыка делает существование человека значительнее, по-

тому что красота, лишённая материального воплощения, обращает его от физики к метафизике, от жизни к смерти, в виду которой жизнь обретает мужество жить. Таковы и эти стихи.

Владимир Гандельсман, январь 2015 г.

Чужой сон

«Среди чужих людей, вблизи своих деревьев...»

Среди чужих людей, вблизи своих деревьев,
навязчивый, как дождь, невыездной, как дом,
безумный, точно Лир, насмешливый, как Тевье
смотри, как я едва, отметить, что я с трудом.
Как мёртвая эмаль старушечьей финифти,
холодный небосвод вмонтирован в карниз.
Спроси меня: «Куда?» Замешкавшийся в лифте,
не назову этаж – не знаю: вверх ли, вниз.
Скажи мне, для чего с нас взяли не по чину?
Что голос заводной твердит о полпути?
Что в этой воркотне? Дай хоть одну причину —
и спеть, и жизнь прожить,
и поле перейти.

«Дождь деревенский не похож на городской...»

Дождь деревенский не похож на городской:
он пахнет жухлостью – листвою и тоской,
на крышу вскочит, огорошит – и сойдёт
на нет, на шёпот, на потухший огород.

И ветер тоже не похож на городской:
он пахнет щепкою и мокрою доской.
Он дверью хлопает в застуженный сарай,
подол у ёлки задирает, негодаяй.

Сыграй мне Шумана тоскливого. Сыграй
не просто музыку, а жалость через край.
Чтоб сжалось в жалости и к горлу подошло:
под шум дождя шарманщик Шуман хорошо.

Звук деревенский не похож на городской:
в носочках вязаных – он старичок сухой.
То ходит комнаткой, то сядет и вздремнёт,
то снова бродит – будто места не найдёт.

И дождь, и ветер отошли тихонько в лес —
а детский пальчик не находит фа-диез,
он заблудился, точно брошенный в лесу,

на чёрной клавише рисует полосу.

И кончик локона на острие плеча
танцует с нотками скрипичного ключа.

Осенний экзерсиз

Ты заметила? – воздух сегодня больной.
Моросит над осинами дождик дрянной,
в придорожной грязи суетится
бестолковая чёрная птица.

А над лесом, едва ли понятное нам,
шепчет небо надменно округлым холмам
настороженно важное что-то,
но вникать всё равно неохота.

Там, в недельной небритой щетине травы,
даже сбившись с пути не сложить головы,
даже если совсем постараться —
не забыться и не затеряться.

Чьё-то имя земное играет со мной,
подавая сигналы зелёной волной,
призывая, как длинная нота —
но вникать всё равно неохота.

И суровы осины, и дождь моросит,
и тяжёлое небо надменно висит,
и не может никак приютиться
бестолковая чёрная птица.

«Мы замолчим, а снег без остановки...»

Мы замолчим, а снег без остановки.
В снегу свою добычу растеряв,
койоты воют, и, хвосты поджав,
уже ютятся в поисках ночёвки:
ни псы, ни волки — леса полукровки —
они, как мы. И каждый будет прав.

Их гонит ночь не выстрелом винтовки:
один из клёнов, надломив сустав
тяжёлого ствола, лежит, упав;
дымится снегом, точно для издёвки.
А вслед за ним — разнузданный состав
ночного на Нью-Йорк свои речёвки
стуча вдоль фонарей пустой парковки,
несёт в пучину — вечный батискаф, —
списав по расписанию остановки.

Тут нет сестёр, а те, что есть — золовки.
Запомни: никого не оправдав,
тут и слова как будто из листовки;
здесь время как смирительный рукав,
в котором все движения неловки.
Мы замолчим. Но даже замолчав,

продолжим говорить без остановки,
как снег идёт. И каждый будет прав.

Чужой сон

Теплушки. Холодно. Старухи.
Вокзал (название забыл) —
и мы стоим, сжимая руки
до хруста. Из последних сил.
Убрав со лба платок пуховый,
ты торопливо говоришь,
но я смотрю, как бестолковый
на губы белые твои.
Оборванными проводами
продрог, заиндевел, застыл
последний час, и перед нами
вокзал (название забыл).
За полотном, в дыму котельной,
раскрытый, будто напоказ —
неровный ров, где я расстрелян,
родившись в предыдущий раз.

«Не бойся ничего. Мне страшно самому...»

Не бойся ничего. Мне страшно самому.
Щерблёная луна опять кривится в кашле,
но отражённый мир в ночном окне – не наш ли?
А тот, что за окном, – не вторит ли ему?
Не бойся ничего: похоже по всему,
что с темнотой давно заводит время шашни,
и часовые сна не стерегут на башне
часы, а всё идут. Идут по одному.
Не бойся ничего. Хотя до слёз пройму
тебя тоской о том, какой я тоже зряшный,
что жарко и темно, как в битве рукопашной —
и не забрать с собой ни сумму, ни суму.
Не бойся ничего. Я тоже не пойму,
что силится ожить в наброске карандашном:
попробуй толковать! Сгорает день вчерашний,
и мы, в который раз, не плачем по нему.
Не бойся ничего. Наверно, потому,
что мысли не страшны, а домыслы не страшны.
В истошной тишине – все звуки бесшабашны.
Не бойся, ничего. Мне страшно самому.

«Я пишу...»

Я пишу:

«Мать, у меня всё в порядке:
берегу себя, как завещал Дарвин —
не лезу под трактор, гуляя по грядкам.
Позавчера был в Нарве».

Я пишу:

«Осталось чуть больше недели,
картошка кончается, деньги тоже.
Мы не бодем и так загорели,
что все, как есть, чернокожие!
Здесь, ты знаешь, ласточки в небе
снуют. И тяжёлые висят облака.
Закаты такие, мама, что мне бы
всё это в стихах. Но не умею пока.
По дому соскучился просто жутко,
доконал меня этот колхоз начисто.
Отцу передай, что в его тужурку
девушки наши отчаянно плачутся».

Письмо маме. Единственному адресату.
Ворох бумаг спасён из помойки.
Оно отправлено в восьмидесятые.
До перестройки.
Исписаны шариковой авторучкой,
листы пожелтели, на сгибах припухли.

Мама, ты знаешь, твои внучки
так и не научились читать эти буквы.

Мама! Зачем ты всё это хранила?

Письма, телеграмм поздравительных астрочки
Слышишь? – и здесь, над твоей могилой,
снуют ласточки.

«Виолончель на встречной полосе – ...»

Виолончель на встречной полосе —
и струны к небу в тысячу свечей.
Вот справа лес, и в нём – виолончель:
в лесу трава, смычок висит в росе.
Прыжками жиг, роптаньем сарабанд,
где вдох, как Бах, а выдох, как полёт —
мир приторочен, точно чёрный бант,
и заколочен, словно чёрный ход.
Ни победить, ни объявить ничьей —
смычок в росе искрится и течёт.
Какой там счёт, когда виолончель?
Мой дурачок, никто не знает счёт.
Ветшает слово в гардеробной фраз,
луна то в профиль, то опять анфас.
Смотри, как странно: с каждой сменой фаз
стареет сердце и скудеет глаз.
Без лишних слов, без правильных речей
виолончели на плече наклон.
На миг повиснет и твоя качель:
на двух канатах – с четырёх сторон.
И, заколочен, точно чёрный ход
твой старый мир останется ничей.
Твой вдох, как Бах – твой выдох, как полёт.

Лети туда, где ждёт виолончель.

«Истечение времени тенью в горячем песке – ...»

Истечение времени тенью в горячем песке —
или тем же песком, по стеклянному сгибу бегущим;
или медленным мёдом, застывшим уже в волоске
сладкой каплей жемчужной – тугой настороженной
гущей.

Разве можно не слышать? И разве, с грехом пополам,
не додумался ты – не постиг, изучив, как науку,
что не слышал, не слушал – не верил ни снам, ни словам?
Но какие слова рядом с этим растянутым звуком?

Этот звук бесконечен: то скрипкой звучит, то альтom,
то в басовом ключе на плече под смычком истекает.
Ты поднимешь глаза: «Ничего не бывает потом:
там – ни света, ни солнца, ни сна – и мгновение тает».
Ну так дай же забыть то, что я не могу позабыть!
По стеклянному сгибу отмерь мне тугую микстуру!
Медной каплей растянута мёда тяжёлая нить.
Настороженным звуком расписана вся партитура.

Мой рассвет открывается медленно. Сходит со льда,
вызревает и падает солнце. За ним остальные.
Клёны строят ряды легионом суровых солдат
и несметной блестят чешуёй – истуканы стальные.

Никому не исчезнуть: ни тайно, ни в дерзком броске,
не исчезнуть никак: ни по плану, ни вдруг – по наитью:
только каплей медовой на тонком висеть волоске —
на струне настороженной звуком растянутой нити.

Бостонская элегия

«Подождите: Лермонтов, значит, – мучитель.

Тютчеву – стрекозу.

С одышкою – Фет».

Лазарь Моисеевич – старый учитель

на скамейке с ворохом русских газет.

На скамейке в бостонском парке.

Над речкой

пахнут незнакомо чужие кусты.

Строго через мост – к остановке конечной

красные вагончики едут пусты.

Вдоль по небу ходят тяжёлые тучи,

отражаясь пятнами злыми в реке.

А старик бубнит на великом, могучем,

никому не нужном своём языке.

Ремесленник

Я твой ремесленник, Минерва.
Вращается гончарный круг,
и мнётся глина равномерно,
и сходит с рук.
Идёт по кругу чечевица
в суровой плоске, наугад:
не обнести, не ошибиться —
не допустить оплошность, брат.
И потому-то у плеча есть
ещё колчан, накидка, лук —
что жить, прощая и прощаясь, —
легко, куда сходит с рук.
Всё принимается на веру,
вино стекает, точно ртуть,
и мерой спросится за меру —
но не сейчас. Когда-нибудь.
А если перестанут длиться
вино и глина в свой черёд:
по черепам, по черепицам
прочтётся всё наоборот.
Стервятник с головою нервной
пройдёт вдоль кромки, семени.
Я твой ремесленник, Минерва, —
прости меня.

«И вот я заснул, убаюканный ливнем – ...»

И вот я заснул, убаюканный ливнем —
и спал, и приснилось, и было легко:
деревья висели над берегом дивным,
и воды прозрачны, и дно глубоко.
Безмолвные в озере плавали рыбы,
бесшумная с ними дружила вода —
и мне показалось: мы тоже могли бы
как рыбы, прижавшись, уплыть навсегда.
Прижавшись, как рыбы в одном водоёме,
где гулко всплывают деревьев плоды,
мы плыли спокойно — и в этом объёме
весь мир отражался, как в капле воды.
Проснувшись, пойму и увижу, что пусто
и тускло, как за день до первого дня:
бессмысленно в комнату свесилась люстра
и смотрит глазницей пустой на меня.

«Мне снился лес: как римскими мечами...»

Мне снился лес: как римскими мечами,
он весь пронзался острыми лучами,
входящими в него наискосок.

Лес был прозрачен, строен и высок,
и каждая из бесконечных сосен
врывалась в ослепительную просинь
над головой — и этой синеве
не уместиться было в голове.

Безумные вокруг метались птицы —
и не пойму, к чему такое снится, —
но там, в лесу, под каждую сосной
стояла ты вселенской медсестрой.

«Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи...»

Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи.
Время умеет сделать камнем живое. Время умеет.
Вот и рассвет поднимается вроде бы, но каменеет:
только светает ещё, а уже темнеет.
Что тебе мифы ушедших народов —
и возвращённых народов свитки?
Что ты пытаешься сделать,
сломавшись при первой попытке?
Все непутёвы твои путевые заметки,
бесцветны цветные открытки —
ткани твоих покрывал опостытели так,
что простыли до нитки.
Что же ты сможешь понять обо мне
по обрывкам моих многоточий?
по неразборчивым фразам соседей,
по выдумкам взбалмошных дочек?
по фотографиям глупым (та лучше, а эта – не очень)?
по очертаниям каждой бессонной прожорливой ночи?
Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи.
Снова пустеют глаза Галатеи, снова пустеют.
Голос ещё раздаётся, но он, отзвучав, немеет.
Время сумеет сделать камнем живое. Время сумеет.

«Заметил ты, как схожи невтопад...»

Памяти В. М. Л.

Заметил ты, как схожи невтопад
с огнями звёзд окошки городские?
Как серебристы млечных эстакад
огни потусторонние, пустые?
Как удивлённо с угасаньем дня
меняется пространства перспектива?
Как горизонта линия плаксива?
Закрой глаза, смотри – она в огнях.
Погаснет день. Поблётнув, догорят
все звуки голосов, слова простые —
река покроет рябью всё подряд,
и фонари застывшие остынут.
Смешаются в одном предсмертном сне
с огнями звёзд, и с огоньками окон
и день, и ночь; и бабочка, и кокон —
закрыв глаза, увидишь их ясней.
Вдоль серебристых млечных эстакад
в последнем сне за горизонтом тая,
 заметишь ли, как схожи невтопад
и яркий свет, и темнота слепая?

«Это время потом назовут довоенным – ...»

Это время потом назовут довоенным —
будут слушать наши глупые песни,
смотреть наши пошлые сериалы
и думать, пожимая плечами: какого хрена?
чего же им всем не хватало?

А потом и сами напишут свои, ещё более глупые песенки,
сами снимут свои, ещё более пошлые и тупые ситкомы,
но тоже исчезнут в каком-нибудь новом кровавом
месиве,
в каком-нибудь новом Армагеддоне.

Всё никак не заснуть: то песни поют,
то протяжная взвывает сирена,
то кровавое что-то мерцает. Он вглядывается,
смотрит сквозь небо устало
и думает: ну какого же хрена?
чего же мне не хватало?

«Нелепо слепленная твердь...»

Нелепо слепленная твердь
комком застыла в манной каше.
Вот день, готовый умереть,
в закатный обморок окрашен.
Вот – убежавшим молоком
на пламени танцует время;
а вот тоска (о ком? о чём?)
(х) ранима, как младенца темя.
Свой рот в улыбке расплетя,
(как будто это понарошку)
над манной кашею дитя
уже облизывает ложку.
И липнут буквы, а с лица
строка свисает, как с кастрюльки.
Сын превращается в отца,
отец играет в бирюльки.
Над талым снегом наклонён,
он шепчет медленное слово,
и фокус-крокус вдруг явлён
на свет легко и бестолково.
Цветок младенец подберёт,
как будто кролика за ушки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.